

ТАНЕЦ С ПЧЁЛАМИ

П О В Е С Т Ь

Доктор Пётр Сойфер

Петр Сойфер

Танец с пчелами

«Автор»

2026

Сойфер П.

Танец с пчелами / П. Сойфер — «Автор», 2026

Мара с детства не выносит шум мира — гул голосов, скрип половиц, звон посуды сливаются для неё в непереносимый хаос. Спасение она находит у деда-пасечника: дыхание, замедленное до предела, становится единственным способом услышать этот хаос как музыку. Балет, которому её отдаёт мать, требует обратного — подчинения формы вопреки телу. После смерти деда Мара уходит из студии и находит собственный, немыслимый язык: танец с живым роем пчёл, где спасение — не в контроле, а в полном отказе от него. От детского ужаса до предельного, почти религиозного слияния с пятнадцатью тысячами крыльев на сцене — путь взросления, рассказанный языком тела. Замысел повести родился из перформанса современной художницы Сары Мапелли, которую автор видел вживую.

© Сойфер П., 2026

© Автор, 2026

Петр Сойфер

Танец с пчелами

Доктор Пётр Сойфер
ТАНЕЦ С ПЧЁЛАМИ

повесть

Предисловие

Замысел этой повести родился не за письменным столом.

Я видел Сару Мапелли вживую. Помню тишину, наступившую в зале за несколько секунд до того, как она сняла верхнюю одежду и осталась стоять перед публикой с обнажённым торсом. Помню нарастающий гул где-то за кулисами — служитель открывал переносной улей. И помню момент, когда первые пчёлы опустились на её кожу: зал задержал дыхание разом, будто сотни людей превратились на миг в один организм.

То, что происходило дальше, было трудно назвать словом «перформанс». Она не работала с роем — она растворялась в нём. Рой не садился на неё, как садятся на цветок или на ветку, — он облакал её, наращиваясь слой за слоем, пока плечи и грудь не превратились в живой, дышащий, вибрирующий доспех. Она двигалась медленно, почти незаметно, и в этой медленности было что-то, чего я не встречал ни в танце, ни в терапии, ни в религиозном ритуале, хотя работаю с изменёнными состояниями сознания не первый десяток лет.

Профессиональный инстинкт психотерапевта проснулся во мне раньше, чем зрительский восторг. Я смотрел на женщину, чьё тело было покрыто пятнадцатью тысячами существ, каждое из которых способно причинить боль, и понимал: то, что я вижу, — не трюк дрессировщика и не аттракцион смелости. Это акт полного отказа от контроля, доведённый до предела, в котором обычно рождается либо паника, либо просветление. Мапелли выбрала второе. Её пульс, судя по всему, что она позже рассказывала о своей практике, в такие минуты замедляется, дыхание выравнивается, и это не метафора спокойствия — это спокойствие, зафиксированное физиологией.

Я вышел из зала с одним вопросом, не отпускавшим меня много месяцев: что должно произойти с человеком в детстве, чтобы во взрослой жизни он выбрал именно этот путь к свободе — путь через полную беззащитность? Балет учит контролировать тело. Спорт учит побеждать сопротивление. А здесь было нечто противоположное: мастерство, достигаемое не через власть над материей, а через доверие к ней, притом доверие к материи, которая жалит.

«Танец с пчёлами» — не биография Сары Мапелли и не документальный очерк о её практике. Мара, героиня этой повести, — вымышленный персонаж со своей историей, своим дедом-пасечником, своим детским «Шумом» и своим путём от балетного станка к рою. Но искра, из которой выросла её история, — подлинная. Она вспыхнула в тот вечер, когда я своими глазами увидел женщину, стоящую под грузом двух килограммов живого золота, и понял, что передо мной не эпатаж, а редчайшая форма телесной терапии, придуманная не в кабинете, а самой природой.

Эта повесть — моя попытка представить, каким должен быть путь человека к подобному финалу. Путь, в конце которого страх перестаёт быть врагом и становится языком.

Пролог. Вес живого золота

Зеркало в гримёрке отражало меня по пояс — обнажённый торс, приподнятые плечи, дыхание, уже замедленное настолько, что грудная клетка поднималась и опускалась почти незаметно для постороннего глаза. Лампочки по периметру рамы грели кожу лица сухим, немного

пыльным жаром, каким греют только старые гримёрные лампы, не сменившиеся на новые за десятилетия существования этого театра. Пахло гримом, разогретым текстилем костюмерной за стеной и, едва уловимо, воском — я привозила с собой этот запах в маленькой деревянной коробочке, ставила её на туалетный столик перед каждым выступлением, хотя надобности в этом давно не было. Привычка, унаследованная от деда, оказалась крепче любого рационального объяснения.

Я нанесла каплю феромона на грудину, ещё одну на основание шеи, растёрла подушечками пальцев, будто втирая масло перед ритуалом, смысл которого давно перестал нуждаться в объяснении даже для меня самой. Жидкость была прохладной в первую секунду и почти сразу становилась незаметной, впитываясь в кожу без следа, без запаха, различного человеческим носом, — вся её сила предназначалась для обоняния, устроенного совершенно иначе, чем моё.

За кулисами стояла темнота — та особая темнота закулисы, плотная, пахнущая пылью декораций и разогретым воздухом софитов, в которой звук всегда слышен яснее, чем свет виден. Из этой темноты начал нарастать гул: служитель, чьё лицо я так и не научилась различать за годы выступлений, потому что смотрела в такие минуты только внутрь себя, открывал крышку переносного улья.

Внутри меня, привычно и без усилия, начал разворачиваться тот же процесс, что разворачивался перед каждым выходом за последние годы, — медленное, почти незаметное соскальзывание внимания с внешнего мира на внутренний ландшафт тела. Сначала стопы, вросшие в деревянный пол сцены через тонкую подошву обуви для разминки. Потом колени, бёдра, живот. Дыхание, которое я больше не считала сознательно, — оно текло само, длинным, ровным потоком, будто река, нашедшая своё русло много лет назад и с тех пор не нуждавшаяся в направлении.

Гул нарастал не резко, а волнами, как нарастает шум прибоя перед тем, как накрыть берег целиком, — сначала низкий, почти неразличимый фон, затем всё более плотный, всё более настойчивый звук тысяч крыльев, готовящихся подняться разом. Я знала этот звук так хорошо, что могла бы, наверное, различить в нём отдельные фазы: пробуждение, разведку, коллективное решение подняться. Дед никогда не объяснял это языком энтомологии — для него рой был не совокупностью насекомых, а единым существом с собственным характером, собственным настроением, меняющимся от утра к вечеру, от весны к осени. Я унаследовала эту манеру видеть — не изучать рой, а слушать его, как слушают человека.

Первое соприкосновение с роем никогда не ощущалось так, как ощущается холод. Я знаю это лучше, чем кто-либо, потому что меня спрашивали об этом бесчисленное количество раз — журналисты, зрители, случайные знакомые на приёмах после выступлений, ожидавшие услышать что-то о ледяном ужасе, о сковывающем оцепенении, — и каждый раз я вынуждена была разочаровывать их ожидания правдой. Первое касание роя — это не холод. Это тяжёлое, горячее, вибрирующее пламя, опускающееся на кожу не единой массой, а тысячами отдельных, тёплых точек контакта, каждая из которых несёт в себе крошечную долю биения крыльев.

Пчёлы ложились на моё тело слой за слоем, наращивая себя на плечах, груди, предплечьях с той неторопливой методичностью, с какой строится любое настоящее сооружение, — не наспех, не хаотично, а по законам, отточенным миллионами лет коллективного инстинкта. Кожа под первым слоем ещё помнила себя отдельной поверхностью, границей между мной и воздухом. Ко второму слою эта граница начинала размываться — не физически, но в том смысле, в каком размывается разница между тканью и телом под плотно облегающей одеждой, сшитой без единого шва. К тому моменту, когда рой укрывал меня полностью, я переставала ощущать отдельные тела и начинала ощущать единый живой доспех, тяжёлый — почти два килограмма чистого, дышащего золота, — и в то же время подвижный, текучий, готовый в любую секунду качнуться вслед за движением моего тела.

Где-то в глубине этого ощущения, в самом основании, всегда оставался маленький, никуда не девающийся осколок семилетней девочки, замирающей на границе сада деда, не в силах сделать ни шагу дальше. Я давно перестала бороться с этим осколком. Он был не врагом, а фундаментом — той самой честностью тела, на которой держался весь дальнейший путь. Без него не было бы преодоления, а без преодоления — не было бы того, что теперь ложилось мне на плечи с доверием, показавшимся бы невыносимым той же самой семилетней девочке.

Из темноты донёсся отсчёт помощника режиссёра — тихий, почти неслышный голос, отмерявший последние секунды перед выходом.

Я стояла неподвижно, позволяя весу роя устояться на теле окончательно, слушая, как гул за кулисами сливается с гулом, звучащим теперь изнутри собственной грудной клетки, — эти два звука давно перестали быть для меня разными, слились в один неделимый пульс задолго до того, как я научилась объяснять это словами кому-либо, кроме самой себя. За плотной тканью занавеса угадывался шум зрительного зала — приглушённые голоса, шорох программ, случайный кашель, — весь тот обычный человеческий гул, что через несколько секунд должен был смениться абсолютной тишиной.

Загорелся софит.

Свет ударил из-за края занавеса, белый, ровный, безжалостно яркий, — и я сделала первый шаг ему навстречу, неся на плечах вес живого золота, зная то, чего никогда не узнают зрители, ожидающие в темноте зала: что этот вес не был бременем. Он был единственным грузом в моей жизни, под которым я когда-либо чувствовала себя не согнутой, а выпрямленной в полный рост.

Глава 1. Улы в саду и шумы в голове

Мне было семь лет, когда я впервые поняла, что мир звучит слишком громко для одного человека.

Это не было метафорой. Гул холодильника на кухне, скрип половиц под чужими шагами, спор родителей за стеной, шелест страниц вечерней газеты в руках матери, — всё это складывалось во мне не в фон, а в отдельные, равно важные, равно требовательные голоса. Взрослые называли это капризами. Я называла это про себя — Шум. С большой буквы, потому что он казался мне существом, а не свойством пространства.

Иногда, лёжа в темноте перед сном, я пыталась разложить Шум на составные части, как раскладывают конструктор на отдельные детали, — тиканье часов отдельно, дыхание отдельно, отдалённый лай соседской собаки отдельно, — в надежде, что если понять устройство чудовища, оно перестанет пугать. Это никогда не срабатывало до конца. Части всё равно сливались обратно в единый, неразборчивый гул, стоило мне отвлечься хоть на секунду, и я снова оказывалась внутри него, беспомощная, будто утопающая в звуке, которого никто вокруг, казалось, даже не замечал.

Врач, к которому меня водила мать, говорил слово «сенситивность» и предлагал успокоительные капли. Мать морщилась и качала головой — не потому что не верила врачу, а потому что не верила мне. Болезненный ребёнок был для неё неудобством, преодолемым волей, а не диагнозом, требующим принятия. Так я и жила, зажата между её раздражением и собственным телом, реагиравшим на мир быстрее, чем я успевала его понять.

Лето меня спасало. Каждый июнь мать отвозила меня к деду Стефану — в деревню, где заканчивался асфальт и начиналась тишина другого рода: не пустая, а полная, будто сама земля там дышала медленнее. Дорога туда занимала около трёх часов, и я помню, как с каждым поворотом за окном машины городские звуки — гудки, сирены, ровный гул моторов — постепенно сменялись другими: сначала редким шумом встречных грузовиков, потом только ветром в открытой форточке, потом, уже на подъезде к деревне, стрёкотом кузнечиков в при-

дорожной траве, таким плотным и ровным, что казался почти музыкальным фоном, а не хаосом отдельных звуков.

Дом деда стоял на краю деревни, там, где начинались луга, полого спускавшиеся к небольшой реке. За домом тянулся длинный, неухоженный в городском понимании, но живой сад: старые яблони и груши, посаженные ещё прадедом, заросли смородины вдоль забора, грядка с травами, которые дед выращивал не столько для еды, сколько для настоек и для успокоения пчёл дымом. Земля здесь пахла иначе, чем городские клумбы, — глубже, сложнее, смесью прелой листвы, влажной травы и того особого, тёплого аромата, что исходит нагретая солнцем деревянная стена сарая.

Дед был пасечником в третьем поколении. Он говорил мало, а если говорил, то короткими фразами, между которыми оставлял паузы, словно давал словам время осесть. В его доме не было спешки. Даже часы на кухне тикали как-то неторопливо, будто подстроились под его дыхание, а не наоборот. Я помню, как в первые дни каждого лета удивлялась этой неспешности почти физически — тело, привыкшее к городскому ритму, поначалу маялось от избытка тишины, будто отвыкшее от покоя после долгой пробежки. Требовалось два, иногда три дня, прежде чем внутренний метроном замедлялся до скорости деревенской жизни.

В первое же утро он повёл меня в сад, к ульям.

Я помню свет того дня — жёлтый, густой, процеженный сквозь листву старой груши, дробившийся на земле в неровные, подвижные пятна, менявшие форму при каждом дуновении ветра. Помню запах: смесь воска, дыма от небольшой курительницы, которую дед держал в руке, и чего-то сладковато-травяного, чему я тогда не знала названия. Позже я узнала: это был запах прополиса, вплавленный в дерево ульев за десятилетия. Под ногами шуршала сухая трава, ещё не скошенная в то раннее утро, и где-то за спиной, в кроне груши, не переставая пели птицы — не тревожно, а с той обыденной методичностью, с какой поют птицы, для которых человеческое присутствие давно стало частью привычного пейзажа.

Ульи стояли рядами, выкрашенные в блёкло-голубой и белый — дед объяснил потом, что пчёлы лучше различают эти цвета и не путают свой дом с соседним. Гул стоял ровный, низкий, вездесущий, и я замерла на границе сада, не в силах сделать ни шагу дальше.

— Не бойся их, — сказал дед. — Бойся своего страха. Они чувствуют разницу.

Я не поняла тогда, что он имел в виду. Понимание пришло позже, когда одна пчела, отделившись от общего гула, полетела в мою сторону — не агрессивно, а просто по своей траектории, к цветку у меня за спиной. Но я этого не знала. Я видела только приближающуюся точку и слышала нарастающий, персональный, адресованный лично мне звук.

Тело среагировало раньше разума. Я вскрикнула и замерла — не убежала, а именно замерла, парализованная тем особым видом ужаса, что приходит, когда бежать некуда, потому что опасность не в одной точке пространства, а во всём воздухе сразу. В голове в ту секунду не было ни одной связной мысли — только чистое, животное ощущение угрозы, разлитое по всему телу разом, от корней волос до кончиков пальцев на ногах, стиснутых внутри сандалий так, будто я пыталась вжаться в землю и исчезнуть.

Дед не отогнал пчелу. Он не сделал резкого движения, которое я, наверное, ждала от него, — взмаха рукой, окрика. Вместо этого он подошёл, сел на низкую деревянную скамью рядом со мной и взял мою руку в свою. Ладонь у него была шершавая, тёплая, с вьёвшимся в кожу запахом воска — такая непохожая на ухоженные, чуть прохладные руки матери, что само прикосновение подействовало на меня почти так же успокаивающе, как последовавшие за ним слова.

— Дыши со мной, — сказал он.

Он не объяснял, как. Он просто начал дышать сам — медленно, глубоко, с долгим выдохом, — и держал мою руку так, что я чувствовала его дыхание через пульс на запястье. Я помню, как удивилась в ту минуту простоте происходящего: не заклинание, не строгий при-

каз успокоиться, каким обычно пытались утихомирить меня взрослые, а просто ритм, который можно было скопировать, как копируют движение чужого тела в игре. Пчела покружила рядом ещё несколько секунд и улетела к цветку, за которым и охотилась.

— Она видела не тебя, — сказал дед, когда всё закончилось. — Она видела твой страх. Страх пахнет кисло. И у него частый пульс. Сделай выдох длиннее вдоха — и запах сменится.

Я не поверила ему сразу. Семилетнему ребёнку трудно поверить, что чувство, кажущееся абсолютным и всеобъемлющим, можно изменить простым удлинением выдоха. Внутренне я, кажется, восприняла эти слова скорее как утешительную сказку, чем как инструкцию, — что-то вроде тех историй, которыми взрослые убаюкивают детей, не собираясь, чтобы в них верили буквально. Но в последующие дни дед возвращался к этому снова и снова, без нажима, без урока в привычном смысле слова. Мы просто сидели рядом с ульями, на безопасном расстоянии, и дышали.

Дни складывались в привычный ритуал. Утром, пока роса ещё не высохла на траве, мы шли проверять ульи — дед снимал крышки, вынимал рамки, показывал мне соты, полные мёда, и объяснял, какая семья сильна, а какая нуждается в помощи. После полудня, когда солнце поднималось высоко и жара загоняла даже пчёл в тень, мы сидели на веранде, и дед что-то мастерил — чинил рамки, точил инструмент, — а я читала или просто смотрела на луга за садом, на то, как ветер гнёт высокую траву волнами, похожими на дыхание какого-то огромного, невидимого существа. Вечерами, когда воздух остывал и в саду начинали стрекотать сверчки, мы возвращались к ульям в последний раз за день — просто посидеть, послушать, как рой готовится ко сну.

Со временем я начала замечать прежде не замеченные вещи. Что гул роя — не однородный шум, а слоистый: низкий фон рабочих пчёл, вылетающих и влетающих, и особый, чуть более высокий тон, когда кто-то из них тревожился. Что если сидеть достаточно долго и достаточно тихо, гул перестаёт быть угрозой и начинает казаться почти музыкальным — не мелодией в привычном смысле, а чем-то вроде звукового полотна, в котором есть свой ритм, своя логика. Я начала ловить себя на мысли, что жду вечернего часа у ульев так же, как в городе ждала конца дня, когда наконец можно было остаться одной в своей комнате, — только здесь ожидание было обращено не к бегству от мира, а навстречу ему.

— У тебя внутри тоже есть Шум, — сказала я деду однажды, сама удивившись собственной смелости. — Как у меня?

Он посмотрел на меня долго, будто взвешивал, стоит ли отвечать всерьёз.

— У всех есть, — сказал он наконец. — Разница в том, научился ли человек его слышать как музыку или всё ещё слышит как крик.

Я не поняла тогда всей глубины этой фразы. Я была ребёнком, и для меня это означало просто: у дедушки тоже болит голова от звуков, но он справился. Настоящее значение его слов раскрылось мне только годы спустя, когда собственный путь — через балетные залы, через панику, через транс роя — стал моим личным переводом этой короткой фразы на язык тела.

К концу того лета я всё ещё вздрагивала, когда пчела пролетала слишком близко. Страх не исчез — исчезла его абсолютная власть надо мной. Я узнала, что могу замедлить дыхание, и мир вокруг замедлится вместе со мной. Это было первое, самое раннее знание из тех, что впоследствии станут фундаментом всего, чем я занимаюсь. Тогда я об этом не подозревала. Я знала только одно: рядом с дедом Шум становился тише, а гул пчёл — почему-то нет, и меня это не пугало.

В последний вечер перед отъездом я долго не могла заснуть, слушая через открытое окно стрёкот кузнечиков и далёкий, едва различимый гул уснувших ульев. Мне казалось, что если запомнить этот звук достаточно точно, я смогу забрать его с собой в город, спрятанным где-то внутри грудной клетки, — и доставать его в те моменты, когда городской Шум станет невыно-

симым. Я не знала тогда, что интуиция не обманывала меня: именно так, в конечном счёте, и произошло, хотя дорога к этому заняла ещё много лет.

Когда мать приехала забирать меня в конце августа, она заметила перемену — не назвала её словом, но заметила. «Мара, ты стала спокойнее», — сказала она в машине, глядя на дорогу, а не на меня. Я не стала объяснять почему. Я и сама тогда не смогла бы объяснить это словами — только дыханием, только памятью тела о шершавой ладони деда на моём запястье и о гуле, переставшем быть криком.

Глава 2. Корсет из классического балета

Следующие пять лет спрессовались в моей памяти в одно долгое городское эхо. Я возвращалась к деду каждое лето, и каждое лето заново училась тому дыханию, которое зимой почему-то забывалось — будто тело хранило его только в присутствии гула, а без него соскальзывало обратно в прежний, рваный ритм. Мать замечала перемену каждый август и не замечала её исчезновения каждый сентябрь: для неё я оставалась либо «спокойной», либо «болезненной», без промежуточных состояний, без понимания, что одно вытекает из другого через дыхание, а не через характер.

Когда мне исполнилось двенадцать, мать приняла решение, которое, как ей казалось, разом решало обе мои проблемы — нервозность и «избыток энергии», как она это называла. Решением стал балет. Строгая дисциплина, говорила она, придаст форму тому, что во мне было бесформенным. Она не спрашивала, хочу ли я. Она видела перед собой ребёнка, нуждающегося в корсете, — и не знала, что настоящий корсет мне уже дали. Просто он был сделан не из ткани и костей, а из дыхания и тишины, и надевался только рядом с ульями.

Балетная студия занимала бывший цех текстильной фабрики — высокие окна, холодный свет, зеркала во всю стену. Лодзь была помешана на памяти о своём текстильном прошлом, и половина танцевальных студий города ютилась в таких вот перестроенных цехах, ещё хранивших в стенах слабый, въевшийся запах машинного масла. Зимой сквозь эти окна почти не пробивалось солнце: серый, плоский свет польской зимы ложился на паркет ровным, безжизненным пятном, не менявшимся ни утром, ни вечером, будто время дня не имело значения для этого пространства, подчинённого исключительно расписанию репетиций. Я помню свой первый день там с той же ясностью, с какой помнят не радость, а слом: момент, разделивший жизнь на «до» и «после».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.